

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile*¹ или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет, а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования,

¹ Вечный двигатель (*лат.*).

за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывести из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, — все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и считали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Все доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения, очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, — монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а

следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, — книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее — некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но *какая бы* ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, — в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский

не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседаая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно, не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести “Россияду” Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою «Россияду» и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» — серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, — вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такую нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому

чтоб он не знал санскритского языка — француз все знает, даже ничему не учившись, — но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (*les boyards*) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому

кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно, истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petrousha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частью произнесены в состоянии беспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недалекостью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и в *premier-Paris*¹ и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и по-давно. Во-вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.

¹ В передовицах парижских газет (*фр.*).

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales¹ и проч., и проч. А между тем и тот и другой — европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Вины ваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переубедить. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент-Беву», — выража-

¹ Сердечные согласия (*фр.*).

ется он. «Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Беву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал *напрямки*, что литература, проповедующая безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Беву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки (что по-французски переводится: *enfants de bonne maison, fils de famille*)¹, знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать лакею

¹ Дети из хорошего дома, маменькины сынки (*фр.*).

налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случескому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна стовариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им — легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, — разве это не те же *Раканы*, разумеется, в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о

проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, — это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в *légion d'honneur*'e¹, и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, — повторили бы мы им, — несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «*Le Faux Demetrius*»², из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам *Le Faux Demetrius* вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего маркиза *Davis de la Pailletterie*. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, — повторили бы мы им в третий раз, — и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт и т. д., и т. д. — Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде

¹ Почетном легионе (*фр.*).

² «Лжедмитрий» (*фр.*).

на русского, требующего у ней в поздний час *le cordon s'il vous plait*¹, бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, *au centre de la civilisation*², не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во все горло: *le cordon s'il vous plait*». Но, несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько губернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей — приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (*boyards*), они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем все это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно об-

¹ Отворите, пожалуйста (*фр.*).

² В центр цивилизации (*фр.*).

ращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: *les boyards* и *les serfs*¹. Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски — и *les boyards*, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и *les serfs*, которых опять тоже не было, в смысле настоящих *serf*'ов, так, как вы понимаете это словечко. И все это сливается так легко, так естественно, мирно — главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из

¹ Бояр и крепостных (*фр.*).

благословенных на веки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек, потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позовах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, пере-

давая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера.

— Но позвольте, — скажут нам, — что же такое ваша национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

— Вот еще, — продолжает он, — в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? Что вы под этим подразумеваете?

— То есть, — отвечаем мы, — вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?

— Нет, я вовсе этого не хочу, — восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, — я вовсе этого не хочу. Я только хотел...

— Нет, милостивый государь, — прерываем мы, — вы хотели ответа и вы слушаете наш ответ.

— Он заслужил розга и получит розга! — подхватывает Иван Карлыч, вероятно, вспомнив то время, когда

он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

— Мы веруем, — повторяем мы...

Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так... потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность.

Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно быть благородно-мнительным, недоверчивым. Все это бывает. Но часто и даже большею частию мы любим *умалчивать* из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого — наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет — это слишком; но нельзя не согласиться, что все на свете снесет иной современный человек, какое хотите бесчестие — даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы... Одной только насмешки над умом своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с насла-

ждением отмстит за нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про *иного* современного человека, а не про всех современников. Может быть, это именно оттого происходит, что в наше время все начинают все сильнее и больше чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком... Но, видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же простиительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного... ну, хоть промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе; к тому же промышленник — это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное). Так вот, если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название мошенника или дурака? — то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум — вот в чем главное дело! Умалчивая о своих убеж-

дениях, они охотно и с яростию будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, — и все это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан... и т. д., и т. д.

— Ну, уж это пошло у вас из прописей, — скажет читатель и, пожалуй, бросит читать.

В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтоб высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, — одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует. Мы говорим: *особенно*, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до ярости, и иногда во все не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные, — отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убе-

ждения, если сам в своих словах сомневается, — то он отвечал, будто оттого и горячится, что все пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и *даже боясь* доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные... Но довольно!.. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?

3

Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это, бесспорно, так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и, наоборот, француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих

наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью смотрит на национальные его особенности. Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия. Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное для себя препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во временах Жанны д'Арк или крестовых походов? Неужели цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов? Большею частию таковы и все европейцы. Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного — и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия все более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере называли безличностью. Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся, по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейско-

го, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, — в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть, и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, — чего нет в европейских народах, *в смысле всеобщей народной способности*. Неужели же это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И вот эта-то нация, усиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! Петр почувствовал в себе каким-то

инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских, — потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу и которая была в их крови еще с славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? Может быть, нам скажут: откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд,

которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынести и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, — как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако ж, затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его *légion d'honneur'e*. Затроньте англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас, русских, нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних так называемых литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! Если б вы знали,

как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жил с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: les boyards и les serfs; на том и сидите. Какие тут boyards! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно наоборот. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся нация, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, наверно, еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш? кажется, на деле не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными и недаленовидными скороспелками. Нет, мы давно уже во все вглядываемся, все анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался у нас недавно, но, по-нашему, очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу *собст-*

венную повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж-Занда и — боже, как мы тогда зачитались! Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж-Занда; прочтите объявление об их журнале на 61 год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и — не знали, что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых — те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все делалось по принципу; мы и жили по принципу, и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с тем все напереыв уличали и обличали друг друга; и, господи, как они все тогда сплетничали! И ведь все это было большею частью искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине как-нибудь вечерком, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу подлец». Другой расчувствуется и начнет, с своей сторо-

ны, то же самое. И вот пустятся один перед другим наперыв, даже клеветают на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга. Были у нас и байронические натуры. Они большею частию сидели сложа руки и... даже уж и не проклинали. Так, только лениво иногда осклаблялись. Они даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что уж так все гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощечки! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? — говорили мы друг другу, — ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни все, что она может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезают, и вот — он с демоническим хохотом передергивает в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! — почти все, кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жа-

ловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли, а и все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и... многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова, он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, — всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо на веки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон — но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов, писал он и в альбомы, но даже сам г-н ...бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что вый-

дут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас, и осмелял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас.

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.

Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Лааманский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм... Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, — читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то,

что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина — мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Презилось и желалось все это нам, как дождь на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не побоялся... но об Островском потом. Мы не располагали о нем говорить теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахни ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и бояться,

когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам, и смеемся с любовью, что же? детский возраст, простительно! Грешные люди — мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся «оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов, столь почтенных и столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России... Нет, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все от здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. все хорошие, хорошие, признаки!..

4

Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальной дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает преобладающее значение в обществе, несмотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышед-

шей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограничены, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройке идеи и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнивании прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и проч.

Золотые непременно поймут это так, что брак *немедленно* должен разрушиться; главное — немедленно. Мало того, — что всякая женщина не только может, но даже *должна* быть неверною своему мужу, и что в этом-то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, например, общество, в какое-нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на два убеждения. Тогда они не знают, к кому, к чему пристать; а между тем нередко считаются столпами, авторитетами: нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает, и всегда невпопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем-

нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их решений переходили в потомство как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность, и даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей если не передовых, то не отсталых и, главное, *страшно* благоразумных. Мы говорим *страшно*, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, *практическим* пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы так сбрыкнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности.

Известен факт, что грамотное простонародье наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. — Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. — Хорошо. Следственно, по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнью. Во-первых, в нашем простонародье

грамотных так мало, что грамота, действительно, дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении — нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом — признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. С своей стороны, грамотный как-то невольно склонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. «Они, дескать, темные, а мы народ грамотный». Его так и подмывает, при случае, *выйти из рядов*. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, иногда самый не приметный, а иногда и очень сильный, особенно если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом — все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряда вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже

развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, непрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед нею. Таким образом появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч. Возьмем теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстук и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, то есть отречься от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей, видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, то есть с высшими; он обезьянничает их манеры, замашки; платье отличает его от прежней среды... Таким образом, и грамотность, как чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными. Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все переносят, — особенно при

свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие, легкомыслие — заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и — вдруг обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он чванился, и ждали, что от него в эту критическую минуту будет. Вот он и показал себя и... попал в острог. Разумеется, мы говорим не про всех грамотных. Мы говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только научится простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, особенно если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что пределы нашей статьи не позволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит все это на практике, как развивается и к какому приходит концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных приходят в остроги уже отчасти самой природой к тому предназначенные при известной обстановке, то есть люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегияльными своими неудобствами именно потому, что у нас она и есть привилегия...

— Что ж из этого? — скажут нам. — Из ваших же слов выходит, что грамотность вредна и что наше простолюдые до нее не дозрело.

— Напротив, — отвечаем мы, — вместо того, чтоб делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет — все будут грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее; в этом все лекарство. Тем более, господа противники грамотности, что

вы вашей-то системой (то есть стеснением грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные; *a* если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно, вы никого не излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги; потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию; как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве, одним словом — убить и развратить в нем душу? Или, может быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно. Мы уверены, с своей стороны, совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Все зависит от обстоятельств, и все на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознание этой потребности — и она немедленно находит средство удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не примется массой как улучшение, а напротив — как притеснение, если в массе не образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшения. Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. Взгляните на воскресные школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже тихонько от своих хозяев.

Родители сами приводят своих детей к учителям. Да; не смотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет народное начало и проникнется им. Оно уже сознало, что это необходимо как основание нашего будущего развития и прогресса; оно сознало, что за ним первый шаг, и — найдет наконец, как сделать этот шаг.

5

Итак, все дело теперь в первом шаге, все дело в том, чтоб догадаться, как сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ — легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати, кто-то удостоверял, что мы, то есть именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв не более как за милую шутку. Не одному человеку сказать это неизвестное слово и разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся буду-

щая деятельность наша. Слово — та же деятельность, а у нас — более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостью. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отделилось от народности. Трудов к сближению будет много; мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Все дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямою, откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может ошибаться. Мы, со своей стороны, знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил — вот все, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Все состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ по-

нятлив и признателен; он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во все тысячелетие России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда! Как все возрастет, возмужает и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому, надо полагать, что на досуге они страшно растолстели! Конечно, недаром жили и вы, господа Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания... Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут?». Следственно, вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответ и — находило ответ. Итак, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь... «Какая же это для нас деятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь, — мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ люб-

ви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте?». Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли, что? Вы желаете исполинской деятельности; хотите ли, мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем — и великой природой вашей, и великими идеями, помня, что все это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только в начале, только начните. Начните-ка! а?... Но виноваты, может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнью; но на такие усилия вы не способны.

Конечно, мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование, то есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за неподходящую к нам. Вы хотите *переевропейить* народ? — Но возможно ли, отвечаем мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того все особенно, все непохоже на Европу во всех отношениях: и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, — что европейских результа-

тов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем: что подходит к нам — останется, что не подходит — само собою умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтора ста лет не поддались же европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит, и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недеятельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частию заезжими инженерами.

Но привьется наконец и наука; все это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах... Да, мы именно видим в Пушкине подтвержде-

ние всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый...

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч., — все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоед еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.